

Конец Чертопханова. Иван Сергеевич Тургенев

I

Года два спустя после моего посещения у Пантелея Еремеича начались его бедствия – именно бедствия. Неудовольствия, неудачи и даже несчастья случались с ним и до того времени, но он не обращал на них внимания и «царствовал» по-прежнему. Первое бедствие, поразившее его, было для него самое чувствительное: Маша рассталась с ним.

Что заставило ее покинуть его кров, с которым она, казалось, так хорошо свыклась, – сказать трудно. Чертопханов до конца дней своих держался того убеждения, что виною Машиной измены был некий молодой сосед, отставной уланский ротмистр, по прозвищу Яфф, который, по словам Пантелея Еремеича, только тем и брал, что беспрерывно крутил усы, чрезвычайно сильно помадился и значительно хмыкал; но, полагать надо, тут скорее воздействовала бродячая цыганская кровь, которая текла в жилах Маши. Как бы то ни было, только в один прекрасный летний вечер Маша, завязав кое-какие тряпки в небольшой узелок, отправилась вон из чертопхановского дома.

Она перед тем просидела дня три в уголку, скorchившись и прижавшись к стенке, как раненая лисица, – и хоть бы слово кому промолвила – все только глазами поводила, да задумывалась, да подрыгивала бровями, да слегка зубы скалила, да руками перебирала, словно куталась. Этакой «стих» и прежде на нее находил, но никогда долго не продолжался; Чертопханов это знал, – а потому и сам не беспокоился и ее не беспокоил. Но когда, вернувшись с псарного двора, где, по словам его доезжачего, последние две гончие «окочурились», он встретил служанку, которая трепетным голосом доложила ему, что Мария, мол, Акинфиевна велели им кланяться, велели сказать, что желают им всего хорошего, а уж больше к ним не вернутся, – Чертопханов, покружившись раза два на месте и издав хриплое рычание, тотчас бросился вслед за беглянкой – да кстати захватил с собой пистолет.

Он нагнал ее в двух верстах от своего дома, возле березовой рощицы, на большой дороге в уездный город. Солнце стояло низко над небосклоном – и все кругом внезапно побагровело: деревья, травы и земля.

– К Яффу! к Яффу! – простонал Чертопханов, как только завидел Машу, – к Яффу! – повторил он, подбегая к ней и чуть не спотыкаясь на каждом шаге.

Маша остановилась и обернулась к нему лицом. Она стояла спиной к свету – и казалась вся черная, словно из темного дерева вырезанная. Одни белки глаз выделялись серебряными миндалинами, а сами глаза – зрачки – еще более потемнели.

Она бросила свой узелок в сторону и скрестила руки.

– К Яффу отправилась, негодница! – повторил Чертопханов и хотел было схватить ее за плечо, но, встреченный ее взглядом, опешил и замялся на месте.

– Не к господину Яффу я пошла, Пантелея Еремеич, – ответила Маша ровно и тихо, – а только с вами я уже больше жить не могу.

– Как не можешь жить? Это отчего? Я разве чем тебя обидел?

Маша покачала головою.

– Не обидели вы меня ничем, Пантелея Еремеич, а только стосковалась я у вас... За прошлое спасибо, а остаться не могу – нет!

Чертопханов изумился; он даже руками себя по ляжкам хлопнул и подпрыгнул.

– Как же это так? Жила, жила, кроме удовольствия и спокойствия ничего не видала – и вдруг: стосковалась! Сем-мол, брошу я его! Взяла, платок на голову накинула – да и пошла. Всякое уважение получала не хуже барыни...

– Этого мне хоть бы и не надо, – перебила Маша.

Конец Чертопханова. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)

– Как не надо? Из цыганки-проходимицы в барыни попала – да не надо? Как не надо, хамово ты отродье? Разве этому можно поверить? Тут измена кроется, измена!

Он опять зашипел.

– Никакой измены у меня в мыслях нету и не было, – проговорила Маша своим певучим и четким голосом, – а я уж вам сказывала: тоска меня взяла.

– Маша! – воскликнул Чертопханов и ударил себя в грудь кулаком, – ну, перестань, полно, помучила… ну, довольно! Ей-Богу же! подумай только, что Тиша скажет; ты бы хоть его пожалела!

– Тихону Ивановичу поклонитесь от меня и скажите ему…

Чертопханов взмахнул руками.

– Да нет, врешь же – не уйдешь! Не дождется тебя твой Яфф!

– Господин Яфф, – начала было Маша…

– Какой он гас-па-дин Яфф, – передразнил ее Чертопханов. – Он самый, как есть, выжига, пройдоха – и рожа у него, как у обезьяны!

Целых полчаса бился Чертопханов с Машей. Он то подходил к ней близко, то отскакивал, то замахивался на нее, то кланялся ей в пояс, плакал, бранился…

– Не могу, – твердила Маша, – грустно мне таково… Тоска замучит. – Понемногу ее лицо приняло такое равнодушное, почти сонливое выражение, что Чертопханов спросил ее, уж не опоили ли ее дурманом?

– Тоска, – проговорила она в десятый раз.

– А ну как я тебя убью? – крикнул он вдруг и выхватил пистолет из кармана.

Маша улыбнулась; ее лицо оживилось.

– Что ж? убейте, Пантелея Еремеич: в вашей воле; а вернуться я не вернусь.

– Не вернешься? – Чертопханов взвел курок.

– Не вернусь, голубчик. Ни в жизнь не вернусь. Слово мое крепко.

Чертопханов внезапно сунул ей пистолет в руку и присел на землю.

– Ну, так убей ты меня! Без тебя я жить не желаю. Опостылил я тебе – и все мне стало постыло.

Маша нагнулась, подняла свой узелок, положила пистолет на траву, дулом прочь от Чертопханова, и пододвинулась к нему.

– Эх, голубчик, чего ты убиваешься? Али наших сестер цыганок не ведаешь? Нрав наш таков, обычай. Коли завелась тоска-разлучница, отзывает душеньку во чужу-далню сторонушку – где уж тут оставаться? Ты Машу свою помни – другой такой подруги тебе не найти, – и я тебя не забуду, сокола моего; а жизнь наша с тобой кончена!

– Я тебя любил, Маша, – пробормотал Чертопханов в пальцы, которыми он охватил лицо…

– И я вас любила, дружочек Пантелея Еремеич!

– Я тебя любил, я люблю тебя без ума, без памяти – и как подумаю я теперь, что ты этак, ни с того ни с сего, здорово живешь, меня покидаешь да по свету скитаться станешь – ну, и представляется мне, что не будь я голяк горемычный, не бросила ты бы меня!

На эти слова Маша только усмехнулась.

Конец Чертопханова. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
– А еще бессеребреницей меня звал! – промолвила она и с размаху ударила Чертопханова по плечу.

Он вскочил на ноги.

– Ну, хоть денег у меня возьми – а то как же так без гроша? Но лучше всего: убей ты меня! Сказываю я тебе толком: убей ты меня зараз!

Маша опять головою покачала.

– Убить тебя? А в Сибирь-то, голубчик, за что ссылают?

Чертопханов дрогнул.

– Так ты только из-за этого, из-за страха каторги...

Он опять повалился на траву. Маша молча постояла над ним.

– Жаль мне тебя, Пантелея Еремеич, – сказала она со вздохом, – человек ты хороший... а делать нечего: прощай!

Она повернулась прочь и шагнула раза два. Ночь уже наступила, и отовсюду наплывали тусклые тени. Чертопханов проворно поднялся и схватил Машу сзади за оба локтя.

– Так ты уходишь, змея? К Яффу!

– Прощай! – выразительно и резко повторила Маша, вырвалась и пошла.

Чертопханов посмотрел ей вслед, подбежал к месту, где лежал пистолет, схватил его, прицелился, выстрелил... Но прежде чем пожать пружинку курка, он дернул рукою кверху: пуля прожужжала над головою Маши. Она на ходу посмотрела на него через плечо – и отправилась дальше, вразвалочку, словно дразня его.

Он закрыл лицо – и бросился бежать...

Но он не отбежал еще пятидесяти шагов, как вдруг остановился, словно вкопанный. Знакомый, слишком знакомый голос долетел до него. Маша пела. «Век юный, прелестный», – пела она; каждый звук так и расстипался в вечернем воздухе – жалобно и зноино». Чертопханов приник ухом. Голос уходил да уходил; то замирал, то опять набегал чуть слышной, но все еще жгучей струйкой...

«Это мне она в пику, – подумал Чертопханов; но тут же простонал: – Ох, нет! это она со мною прощается навеки», – и залился слезами.

На следующий день он явился в квартиру г-на Яффа, который, как истый светский человек, не жалуя деревенского одиночества, поселился в уездном городе, «поближе к барышням», как он выражался. Чертопханов не застал Яффа: он, по словам камердинера, накануне уехал в Москву.

– Так и есть? – яростно воскликнул Чертопханов, – у них стачка была; она с ним бежала... но постой!

Он ворвался в кабинет молодого ротмистра, несмотря на сопротивление камердинера. В кабинете над диваном висел портрет хозяина в уланском мундире, писанный масляными красками. «А, вот где ты, обезьяна бесхвостая!» – прогремел Чертопханов, вскочил на диван – и, ударив кулаком по натянутому холсту, пробил в нем большую дыру.

– Скажи своему бездельнику барину, – обратился он к камердинеру, – что, за неимением его собственной гнусной рожи, дворянин Чертопханов изуродовал его писанную; и коли он желает от меня удовлетворенья, он знает, где найти дворянина Чертопханова! А то я сам его найду! На дне моря същу подлую обезьянку!

Сказав эти слова, Чертопханов соскочил с дивана и торжественно удалился.

Конец Чертопханова. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
Но ротмистр Яфф никакого удовлетворения от него не потребовал – он даже не встретился нигде с ним, – и Чертопханов не думал отыскивать своего врага, и никакой истории у них не вышло. Сама Маша скоро после того пропала без вести. Чертопханов запил было; однако «очувствовался». Но тут постигло его второе бедствие.

## II

А именно: закадычный его приятель Тихон Иванович Недопюскин скончался. Года за два до кончины здоровье стало изменять ему: он начал страдать одышкой, беспрестанно засыпал и, проснувшись, не скоро мог прийти в себя; уездный врач уверял, что это с ним происходили «ударчики». В течение трех дней, предшествовавших удалению Маши, этих трех дней, когда она «затосковала», Недопюскин пролежал у себя в Бесселендеевке: он сильно простудился. Тем неожиданнее поразил его поступок Маши: он поразил его едва ли не глубже, чем самого Чертопханова. По кротости и робости своего нрава он, кроме самого нежного сожаления о своем приятеле да болезненного недоумения, ничего не выказал... но все в нем лопнуло и опустилось. «Вынула она из меня душу», – шептал он самому себе, сидя на своем любимом клеенчатом диванчике и вертя пальцем около пальца. Даже когда Чертопханов оправился, он, Недопюскин, не оправился – и продолжал чувствовать, что «пусто у него внутри». «Вот тут», – говорил он, показывая на середину груди, повыше желудка. Таким образом протянул он до зимы. От первых морозов его одышке полегчало, но зато посетил его уже не ударчик, а удар настоящий. Он не тотчас лишился памяти; он мог еще признать Чертопханова и даже на отчаянное восклицание своего друга: «Что, мол, как это ты, Тиша, без моего разрешения оставляешь меня, не хуже Маши?» – ответил коснеющим языком: «А я П...а...сей Е...е...еич, се...да ад вас су...ша...ся». Это, однако, не помешало ему умереть в тот же день, не дождавшись уездного врача, которому при виде его едва остывшего тела осталось только с грустным сознанием бренности всего земного потребовать «водочки с балычком». Имение свое Тихон Иванович завещал, как и следовало ожидать, своему почтеннейшему благодете и великодушному покровителю, «Пантелею Еремеичу Чертопханову»; но почтеннейшему благодетелю оно большой пользы не принесло, ибо вскорости было продано с публичного торга – частью для того, чтобы покрыть издержки надгробного монумента, статуи, которую Чертопханов (а в нем, видно, отзывалась отцовская жилка!) вздумал воздвигнуть над прахом своего приятеля. Статую эту, долженствовавшую представить молящегося ангела, он выписал из Москвы; но отрекомендованный ему комиссionер, сообразив, что в провинции знатоки скульптуры встречаются редко, вместо ангела прислал ему богиню Флору, много лет украшавшую один из заброшенных подмосковных садов екатерининского времени, – благо эта статуя, весьма, впрочем, изящная, во вкусе рококо, с пухлыми ручками, взбитыми пуклями, гирляндой роз на обнаженной груди и изогнутым станом, досталась ему, комиссionеру, даром. Так и до сих пор стоит мифологическая богиня, грациозно приподняв одну ножку, над могилой Тихона Ивановича и с истинно помпадурской ужимкой посматривает на разгуливающих вокруг нее телят и овец, этих неизменных посетителей наших сельских кладбищ.

## III

Лишившись своего верного друга, Чертопханов опять запил, и на этот раз уже гораздо посерезнее. Дела его вовсе под гору пошли. Охотиться стало не на что, последние денежки перевелись, последние людишки поразбежались. Одиночество для Пантелей Еремеича наступило совершенное: не с кем было слово перемолвить, не то что душу отвести. Одна лишь гордость в нем не умалилась. Напротив: чем хуже становились его обстоятельства, тем надменнее, и высокомернее, и неприступнее становился он сам. Он совсем одичал под конец. Одна утеша, одна радость осталась у него: удивительный верховой конь, серой масти, донской породы, прозванный им Малек-Аделем, действительно замечательное животное.

Достался ему этот конь следующим образом. Проезжая однажды верхом по соседней деревне, Чертопханов услыхал мужичий гам и крик толпы около кабака. Посреди этой толпы, на одном и том же месте, беспрестанно поднимались и опускались дюжие руки.

– Что там такое происходит? – спросил он свойственным ему начальственным тоном у старой бабы, стоявшей у порога своей избы.

Опершись о притолоку и как бы дремля, посматривала баба в направлении кабака. Белоголовый мальчишка в ситцевой рубашонке, с кипарисным крестиком на голой грудке, сидел, растопыря ножки и скав кулачонки, между ее лаптями; цыпленок тут же долбил задеревенелую корку ржаного хлеба.

– А Господь ведает, батюшка, – отвечала старуха, – и, наклонившись вперед, положила свою сморщенную темную руку на голову мальчишки, – слышно, наши ребята жида бывают.

– Как жида? какого жида?

– А Господь его ведает, батюшка. Проявился у нас жид какой-то; и отколе его принесло – кто его знает? Вася, иди, сударик, к маме; кш, кш, поскудный!

Баба спугнула цыпленка, а Вася ухватился за ее поневу.

– Так вот его и бывают, сударь ты мой.

– Как бывают? за что?

– А не знаю, батюшка. Стало, за дело. Да и как не бить? Ведь он, батюшка, Христа распял!

Чертопханов гикнул, вытянул лошадь нагайкой по шее, помчался прямо на толпу – и, ворвавшись в нее, начал той же самой нагайкой без разбору лупить мужиков направо и налево, приговаривая прерывистым голосом:

– Само...управство! Само...у...правство! Закон должен наказывать, а не част...ны...е ли...ца! Закон! Закон!! За...ко...он!!!

двоих минут не прошло, как уже вся толпа отхлынула в разные стороны – и на земле, перед дверью кабака, оказалось небольшое, худощавое, черномазое существо в нанковом кафтане, растрепанное и истерзанное... Бледное лицо, закатившиеся глаза, раскрытый рот... Что это? замирание ужаса или уже самая смерть?

– Это вы зачем жида убили? – громогласно воскликнул Чертопханов, грозно потрясая нагайкой.

Толпа слабо загудела в ответ. Иной мужик держался за плечо, другой за бок, третий за нос.

– Здоров драться-то! – послышалось в задних рядах.

– С нагайкой-то! этак-то всякий! – промолвил другой голос.

– Жида зачем убили? – спрашивая я вас, азиаты оглашенные! – повторил Чертопханов.

Но тут лежавшее на земле существо проворно вскочило на ноги и, забежав за Чертопханова, судорожно ухватилось за край его седла.

Дружный хохот грязнул среди толпы.

– Живуч! – послышалось опять в задних рядах. – Та же кошка!

– Васе высокоблагородие, заступитесь, спасите! – лепетал между тем несчастный жид, всею грудью прижимаясь к ноге Чертопханова, – а то они убьют, убьют меня, васе высокоблагородие!

– За что они тебя? – спросил Чертопханов.

– Да ей зе Богу не могу сказать! Тут вот у них скотинка помирать стала... так они и подозревают... а язе...

– Ну, это мы разберем после! – перебил Чертопханов, – а теперь ты держись за седло да ступай за мною. А вы! – прибавил он, обернувшись к толпе, – вы знаете меня? Я помещик Пантелеев Чертопханов, живу в сельце Бессонове, – ну, и, значит, жалуйтесь на меня, когда заблагорассудится, да и на жида кстати!

– Зачем жаловаться? – проговорил с низким поклоном седобородый, степенный мужик, ни дать ни взять древний патриарх. (Жида он, впрочем, тузил не хуже других.) Мы, батюшка Пантелеев Еремеич, твою милость знаем хорошо; много твоей милостью

Конец Чертопханова. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
довольны, что поучил нас!

– Зачем жаловаться! – подхватили другие. – А с нехриста того мы свое возьмем! Он от нас не уйдет! Мы его, значит, как зайца в поле...

Чертопханов повел усами, фыркнул – и поехал шагом к себе в деревню, сопровождаемый жидом, которого он освободил таким же образом от его притеснителей, как некогда освободил Тихона Недопюскина.

#### IV

Несколько дней спустя единственный уцелевший у Чертопханова казачок доложил ему, что к нему прибыл какой-то верховой и желает поговорить с ним. Чертопханов вышел на крыльцо и увидал своего знакомого жида, верхом на прекрасном донском коне, неподвижно и гордо стоявшем посреди двора. На жилке не было шапки: он держал ее под мышкой, ноги он вдел не в самые стремена, а в ремни стремян; разорванные полы его кафтана висели с обеих сторон седла. Увидав Чертопханова, он зачмокал губами, и локтями задергал, и ногами заболтал. Но Чертопханов не только не отвечал на его привет, а даже рассердился; так весь и вспыхнул вдруг: паршивый жид смеет сидеть на такой прекрасной лошади... какое неприличие!

– Эй ты, эфиопская рожа! – закричал он, – сейчас слезай, если не хочешь, чтобы тебя стащили в грязь!

Жид немедленно повиновался, свалился мешком с седла и, придерживая одной рукою повод, улыбаясь и кланяясь, подвинулся к Чертопханову.

– Чего тебе? – с достоинством спросил Пантелея Еремеич.

– Васе благородие, извольте посмотреть, каков конек? – промолвил жид, не переставая кланяться.

– Н..да... лошадь добрая. Ты оттуда ее достал? Украл, должно быть?

– Как зе мозно, васе благородие! Я цестный зид, я не украл, а для васего благородия достал, точно! И уз старался я, старался! Зато и конь! Такого коня по всему дону другого найти никак невозмозно. Посмотрите, васе благородие, что это за конь такой! Вот позалуйте, сюда! Тпру... тору... повернись, стань зе боком! А мы седло снимем. Каков! Васе благородие?

– Лошадь добрая, – повторил Чертопханов с притворным равнодушием, а у самого сердце так и заколотилось в груди. Очень уж он был страстный охотник до «конского мяса» и знал в нем толк.

– Да вы, васе благородие, его погладьте! По сейке его погладьте, хи-хи-хи! Вот так.

Чертопханов, словно нехотя, положил руку на шею коня, хлопнул по ней раза два, потом провел пальцами от холки по спине и, дойдя до известного местечка над почками, слегка, по-охотнику, подавил это местечко. Конь немедленно выгнулся и, оглянувшись искоса на Чертопханова своим надменным черным глазом, фукнул и переступил передними ногами.

Жид засмеялся и в ладоши слегка захлопал.

– Хозяина признает, васе благородие, хозяина!

– Ну, не ври, – с досадой перебил Чертопханов. – Купить мне у тебя этого коня... не на что, а подарков я еще не то что от жида, а от самого Господа Бога не принимал!

– И как зе я смею вам что-нибудь дарить, помилосердуйте! – воскликнул жид. – Вы купите, васе благородие... а денезек – я подозду.

Чертопханов задумался.

– Ты что возьмешь? – промолвил он наконец сквозь зубы.

Жид пожал плечами.

– А что сам заплатил. Двести рублей.

Лошадь стоила вдвое – а пожалуй, что и втрой против этой суммы.

Чертопханов отвернулся в сторону и зевнул лихорадочно.

– А когда... деньги? – спросил он, насищенно нахмутив брови и не глядя на жида.

– А когда будет васему благородию угодно.

Чертопханов голову назад закинул, но глаз не поднял.

– Это не ответ. Ты говори толком, иродово племя! Одолжаться я у тебя стану, что ли?

– Ну, сказем так, – поспешил проговорил жид, – через шесть месяцев... согласны?

Чертопханов ничего не отвечал. Жид старался заглянуть ему в глаза.

– Согласны? Приказете на конюшню поставить?

– Седло мне не нужно, – произнес отрывисто Чертопханов. – Возьми седло – слышишь?

– Как зе, как зе, возьму, возьму, – залепетал обрадованный жид и взвалил седло себе на плечо.

– А деньги, – продолжал Чертопханов... – через шесть месяцев. И не двести, а двести пятьдесят. Молчать! Двести пятьдесят, говорю тебе! За мною.

Чертопханов все не мог решиться поднять глаза. Никогда так сильно в нем не страдала гордость. «Явно, что подарок, – думалось ему, – из благодарности, черт, подносит!» И обнял бы он этого жида, и побил бы его...

– Васе благородие, – начал жид, приободрившись и осклабясь, – надо бы, по русскому обычаю, из полы в полу...

– Вот еще что вздумал? Еврей... а русские обычаи! Эй! кто там? Возьми лошадь, сведи на конюшню. Да овса ему засыпь. Я сейчас сам приду, посмотрю. И знай: имя ему – Малек-Адель!

Чертопханов взобрался было на крыльцо, но круто повернулся на каблуках и, подбежав к жида, крепко стиснул ему руку. Тот наклонился и губы уже протянули, но Чертопханов отскочил назад и, промолвив вполголоса: «Никому не скаживай!» – исчез за дверью.

V

С самого того дня главным делом, главной заботой, радостью в жизни Чертопханова стал Малек-Адель. Он полюбил его так, как не любил самой Маши, привязался к нему больше, чем к Недопюску. Да и конь же был! Огонь, как есть огонь, просто порох – а степенство, как у боярина! Неутомимый, выносливый, куда хошь его повериши, безответный; а прокормить его ничего не стоит: коли нет ничего другого, землю под собой гладает. Шагом идет – как в руках несет; рысью – что в зыбке качает, а поскакет, так и ветру за ним не угнаться! Никогда-то он не запыхается: потому – отдушин много. Ноги – стальные; чтобы он когда спотыкнулся – и в помине этого не бывало! Перескочить ров ли, тын ли – это ему ни почем; а уж умница какая! На голос так и бежит, задравши голову; прикажешь ему стоять и сам уйдешь – он не ворохнется; только когда станешь возвращаться, чуть-чуть заржет: «Здесь, мол, я». И ничего-то он не боится: в самую темять, в метель дорогу сыщет; а чужому ни за что не дастся: зубами загрызет! И собака не суйся к нему: сейчас передней ножкой ее по лбу – тюк! только она и жила. С амбицией конь: плеткой разве что для красы над ним помахивай – а сохрани Бог его тронуть! Да что тут долго толковать: сокровище, а не лошадь!

Примется Чертопханов расписывать своего Малек-Аделя – откуда речи берутся! А уж как он его холил и лелеял! Шерсть на нем отливала серебром – да не старым, а

Конец Чертопханова. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
новым, что с темным глянцем повести по ней ладонью – тот же бархат! Седло,  
чепракоч, уздечка – вся как есть сбруя до того была ладно пригнана, в порядке,  
вычищена – бери карандаш и рисуй! Чертопханов – чего больше? – сам,  
собственноручно, и челку заплел свою любимцу, и гриву и хвост мыл пивом, и  
даже копыта не раз мазью смазывал...

Бывало, сидет он на Малек-Аделя и поедет – не по соседям, – он с ними  
по-прежнему не знался, – а через их поля, мимо усадеб... Полюбуйтесь, мол, издали,  
дураки! А то прослышил, что где-нибудь охота проявилась – в отъезжее поле  
богатый барин собрался, – он сейчас туда – и гарцует в отдалении, на горизонте,  
удивляя всех зрителей красотой и быстротою своего коня и близко никого к себе не  
подпуская. Раз какой-то охотник даже погнался за ним со всей свитой; видит, что  
уходит от него Чертопханов, и начал он ему кричать изо всей мочи, на всем скаку:  
«Эй, ты! Слушай! Бери что хочешь за свою лошадь! Тысячей не пожалею! Жену отдам,  
детей! Бери последнее!»

Чертопханов вдруг осадил Малек-Аделя. Охотник подлетел к нему.

– Батюшка! – кричит, – говори: чего желаешь? Отец родной!

– Коли ты царь, – промолвил с расстановкой Чертопханов (а он отроду и не  
слыхивал о Шекспире), – подай мне все твое царство за моего коня – так и того не  
возьму! – Сказал, захохотал, поднял Малек-Аделя на дыбы, повернул им на воздухе,  
на одних задних ногах, словно волчком или юлою – и марш-марш! Так и засверкал по  
жнивью. А охотник (князь, говорят, был богатейший) шапку оземь – да как грянется  
лицом в шапку! С полчаса так пролежал.

И как было Чертопханову не дорожить своим конем? Не по его ли милости оказалось  
у него снова превосходство несомненное, последнее превосходство над всеми его  
соседями?

## VI

Между тем время шло, срок платежа приближался, а у Чертопханова не только  
двухсот пятидесяти рублей, не было и пятидесяти. Что было делать, чем помочь?  
«Что ж? – решил он наконец, – коли не смилиствится жид, не захочет еще  
подождать – отда姆 я ему дом и землю, а сам на коня, куда глаза глядят! С голоду  
умру – а Малек-Аделя не отда姆!» Волновался он очень и даже задумывался; но тут  
судьба – в первый и в последний раз – скалилась над ним, улыбнулась ему:  
какая-то дальняя тетка, самое имя которой было неизвестно Чертопханову, оставила  
ему по духовному завещанию сумму, огромную в его глазах, целых две тысячи  
рублей! И получил он эти деньги в самую, как говорится, пору: за день до  
прибытия жида. Чертопханов чуть не обезумел от радости – но и не подумал о  
водке: с самого того дня, как Малек-Адель поступил к нему, он капли в рот не  
брал. Он побежал в конюшню и облобызкал своего друга с обеих сторон морды над  
ноздрями, там, где кожа так нежна бывает у лошадей. «Теперь уж не расстанемся! –  
воскрипал он, хлопая Малек-Аделя по шее, под расчесанной гривой. Вернувшись  
домой, он отсчитал и запечатал в пакет двести пятьдесят рублей. Потом помечтал,  
лежа на спине и покуривая трубочку, о том, как он распорядится с остальными  
денегами, – а именно, каких он раздобудет собак: настоящих костромских и  
непременно красно-пегих! Побеседовал даже с Перфишкой, которому обещал новый  
казакин с желтыми по всем швам басонами, и лег спать в блаженнейшем настроении  
духа.

Ему привиделся нехороший сон. Будто он выехал на охоту, только не на  
Малек-Аделе, а на каком-то странном животном вроде верблюда; навстречу ему бежит  
белая-белая, как снег, лиса... Он хочет взмахнуть арапником, хочет натравить на  
нее собак – а вместо арапника у него в руках мочалка, и лиса бегает перед ним и  
дразнит его языком. Он соскачивает с своего верблюда, спотыкается, падает... и  
падает прямо в руки жандарму, который зовет его к генерал-губернатору и в  
котором он узнает Яффа...

Чертопханов проснулся. В комнате было темно; вторые петухи только что пропели...

Где-то далеко-далеко проржала лошадь.

Чертопханов приподнял голову... Еще раз послышалось тонкое-тонкое ржание.

«Это Малек-Адель ржет! – подумалось ему... – Это его ржание! Но отчего же так

Конец Чертопханова. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
далеко? Батюшки мои... Не может быть..."

Чертопханов вдруг весь похолодел, мгновенно спрыгнул с постели, ощупью отыскал сапоги, платье, оделся и, захватив из-под изголовья ключ от конюшни, выскочил на двор.

## VII

Конюшня находилась на самом конце двора; одной стеной она выходила в поле. Чертопханов не сразу вложил ключ в замок – руки у него дрожали – и не тотчас повернул ключ... Он постоял неподвижно, притаив дыхание: хоть бы что шевельнулось за дверью! «Малешка! Малец!» – крикнул он вполголоса: тишина мертвая! Чертопханов невольно дернул ключом: дверь скрыпнула и отворилась... Стало быть, не была заперта. Он шагнул через порог и снова кликнул своего коня, на этот раз полным именем: «Малек-Адель!» Но не отзывался верный товарищ, только мышь прошуршила по соломе. Тогда Чертопханов бросился в то из трех стойл конюшни, в котором помещался Малек-Адель. Он попал прямо в это стойло, хотя кругом такая стояла тьма, что хоть глаз выколи... Пусто! Голова закружилась у Чертопханова; словно колокол загудел у него под черепом. Он хотел сказать что-то, но только зашипел и, шаря руками вверху, внизу, по бокам, задыхаясь, с подгибающимися коленками, перебрался из одного стойла в другое... в третье, почти доверху набитое сеном, толкнулся в одну стену, в другую, упал, перекатился через голову, приподнялся и вдруг опрометью выбежал через полураскрытую дверь на двор...

– Украли! Перфишка! Перфишка! Украли! – заревел он благим матом.

Казачок Перфишка кубарем, в одной рубашке, вылетел из чулана, в котором спал...

Словно пьяные столкнулись оба – и барин, и единственный его слуга – посреди двора; словно угорелые завертились они друг перед другом. Ни барин не мог растолковать, в чем было дело, ни слуга не мог понять, чего требовалось от него. «Беда! беда!» – лепетал Чертопханов. «Беда! беда!» – повторял за ним казачок. «Фонарь! Подай, зажги фонарь! Огня! Огня!» – вырвалось наконец из запиравшей груди Чертопханова. Перфишка бросился в дом.

Но зажечь фонарь, добыть огня было нелегко: серные спички в то время считались редкостью на Руси; в кухне давно погасли последние уголья – огниво и кремень не скоро нашлись и плохо действовали. С зубовым скрежетом вырвал их Чертопханов из рук оторопелого Перфишки, стал высекать огонь сам: искры сыпались обильно, еще обильнее сыпались проклятия и даже стоны, – но трут либо не загорался, либо погасал, несмотря на дружные усилия четырех напряженных щек и губ. Наконец, минут через пять, не раньше, затеплился сальный огарок на дне разбитого фонаря, и Чертопханов, в сопровождении Перфишки, ринулся в конюшню, поднял фонарь над головою, оглянулся...

Все пусто!

Он выскочил на двор, обежал его во всех направлениях – нет коня нигде! Плетень, окружавший усадьбу Пантелея Еремеича, давно пришел в ветхость и во многих местах накренился и приникал к земле... Рядом с конюшней он совсем повалился, на целый аршин в ширину. Перфишка указал на это место Чертопханову.

– Барин! посмотрите-ка сюда: этого сегодня не было. Вон и колья торчат из земли: знать, их кто вывернул.

Чертопханов подскочил с фонарем, повел им по земле...

– Копыта, копыта, следы подков, следы, свежие следы! – забормотал он скороговоркой. – Тут его перевели, тут, тут!

Он мгновенно перепрыгнул через плетень и с криком: «Малек-Адель! Малек-Адель!» – побежал прямо в поле.

Перфишка остался в недоумение у плетня. Светлый кружок от фонаря скоро исчез в его глазах, поглощенный густым мраком беззвездной и безлунной ночи.

Все слабей и слабей раздавались отчаянные возгласы Чертопханова...

## VIII

Конец Чертопханова. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
Заря уже занялась, когда он возвратился домой. Образа человеческого не было на нем, грязь покрывала все платье, лицо приняло дикий и страшный вид, угрюмо и тупо глядели глаза. Сиплым шепотом прогнал он от себя Перфишку и заперся в своей комнате. Он едва держался на ногах от усталости – но он не лег в постель, а присел на стул у двери и схватился за голову.

– Украли!.. украли!

Но каким образом умудрился вор украсть ночью, из запертой конюшни, Малек-Аделя? Малек-Аделя, который и днем никого чужого к себе не подпускал, – украсть его без шума, без стука? И как растолковать, что ни одна дворняжка не пролаяла? Правда, их было всего две, два молодых щенка, и те от холода и голода в землю зарывались – но все-таки!

«И что я стану теперь делать без Малек-Аделя? – думалось Чертопханову. – Последней радости я теперь лишился – настала пора умирать. Другую лошадь купить, благо деньги завелись? Да где такую другую лошадь найти?»

– Пантелея Еремеич! Пантелея Еремеич! – послышался робкий возглас за дверью.

Чертопханов вскочил на ноги.

– Кто это? – закричал он не своим голосом.

– Это я, казачок ваш, Перфишка.

– Чего тебе? Аль нашелся, домой прибежал?

– Никак нет-с, Пантелея Еремеич; а тот жидовин, что его продал...

– Ну?

– Он приехал.

– Го-го-го-го-го! – захолкал Чертопханов – и разом распахнул дверь. – Тащи его сюда, тащи! тащи!

При виде внезапно появившейся всклокоченной, одичалой фигуры своего «благодетеля» жид, стоявший за спиной Перфишки, хотел было дать стречка; но Чертопханов в два прыжка настиг его и, как тигр, вцепился ему в горло.

– А! за деньгами пришел! за деньгами! – захрипел он, словно не он душил, а его душили. – Ночью украл, а днем за деньгами пришел? А? А?

– Помилуйте, ва...се благо...родие, – застонал было жид.

– Сказывай, где моя лошадь? Куда ты ее дел? Кому сбыл? Сказывай, сказывай же!

Жид уже и стонать не мог; на посиневшем его лице исчезло даже выражение испуга. Руки опустились и повисли; все его тело, яростно встряхиваемое Чертопхановым, качалось взад и вперед, как тростник.

– Деньги я тебе заплачу, я тебе заплачу, сполна, до последней копейки, – кричал Чертопханов, – а только я задушу тебя, как последнего цыпленка, если ты сейчас не скажешь мне...

– Да вы уже задушили его, барин, – смиренно заметил казачок Перфишка.

Тут только опомнился Чертопханов.

Он выпустил шею жида; тот так и грохнулся на пол. Чертопханов подхватил его, усадил на скамью, влил ему в горло стакан водки – привел его в чувство. И, приведши его в чувство, вступил с ним в разговор.

Оказалось, что жид о краже Малек-Аделя не имел ни малейшего понятия. Да и с какой стати было ему красть лошадь, которую он же сам достал для «почтеннейшего Пантелея Еремеича»?

Тогда Чертопханов повел его в конюшню.

Вдвоем они осмотрели стойла, ясли, замок на двери, перерыли сено, солому, перешли потом на двор; Чертопханов указал жиду следы копыт у плетня — и вдруг ударил себя по ляжкам.

- Стой! — воскликнул он. — Ты где лошадь купил?
- В Малоархангельском уезде, на Верхосенской ярмарке, — отвечал жид.
- У кого?
- У казака.
- Стой! Казак этот из молодых был или старый?
- Средних лет, степенный человек.
- А из себя каков? на вид каков? небось плут продувной?
- Должно быть, плут, васе благородие.
- И что, как он тебе говорил, плут-то этот, — лошадью он владел давно?
- Помнится, говорил, что давно.
- Ну, так и некому было украсть, как именно ему! Ты посуди, слушай, стань сюда... как тебя зовут?

Жид встрепенулся и вскинул своими черными глазенками на Чертопханова.

- Как меня зовут?
- Ну, да: как твоя кличка?
- Мошель Лейба.
- Ну, посуди, Лейба, друг мой, — ты умный человек: кому, как не старому хозяину, дался бы Малек-Адель в руки! Ведь он и оседлал его, и взнуздал, и попону с него снял — вон она на сене лежит!.. Просто как дома распоряжался! Ведь всякого другого, не хозяина, Малек-Адель под ноги бы смял! Гвалт поднял бы такой, всю деревню бы переполошил! Согласен ты со мною?
- Согласен-то согласен, васе благородие...
- Ну и, значит, надо прежде всего отыскать казака того!
- Да как зе отыскать его, васе благородие? Я его всего только разочек видел — и где зе он теперь — и как его зовут? Ай, вай, вай! — прибавил жид, горестно потрясая пейсиками.
- Лейба! — закричал вдруг Чертопханов, — Лейба, посмотри на меня! Ведь я рассудка лишился, я сам не свой!.. Я руки на себя наложу, если ты мне не поможешь!
- Да как зе я могу...
- Поедем со мною и станем вора того разыскивать!
- Да куда зе мы поедем?
- По ярмаркам, по большим трахтам, по малым трахтам, по конокрадам, по городам, по деревням, по хуторам — всюду, всюду! А насчет денег ты не беспокойся: я, брат, наследство получил! Последнюю копейку просажу — а уж добуду своего друга! И не уйдет от нас казак, наш лиходей! Куда он — туда и мы! Он под землю — и мы под землю! Он к дьяволу — а мы к самому сатане!

– Ну, зачем зе к сатане, – заметил жид, – можно и без него.

– Лейба! – подхватил Чертопханов, – Лейба, ты хотя еврей и вера твоя поганая, а душа у тебя лучше иной христианской! Сжалься ты надо мною! Одному мне ехать незачем, один я этого дела не обломлю. Я горячка – а ты голова, золотая голова! Племя ваше уж такое: без науки все постигло! Ты, может, сомневаешься: откуда, мол, у него деньги? Пойдем ко мне в комнату, я тебе и деньги все покажу. Возьми их, крест с шеи возьми – только отдай мне Малек-Аделя, отдай, отдай!

Чертопханов дрожал, как в лихорадке; пот градом катился с его лица и, мешаясь со слезами, терялся в его усах. Он пожимал руки Лейбе, он умолял, он чуть не целовал его...

Он пришел в исступление. Жид попытался было возражать, уверять, что ему никак невозможно отлучиться, что у него дела... Куда! Чертопханов и слышать ничего не хотел. Нечего было делать: согласился бедный Лейба.

На другой день Чертопханов вместе с Лейбой выехал из Бессонова на крестьянской телеге. Жид являл вид несколько смущенный, держался одной рукой за грядку и подпрыгивал всем своим дряблым телом на тряском сиденье; другую руку он прижал к пазухе, где у него лежала пачка ассигнаций, завернутых в газетную бумагу; Чертопханов сидел как истукан, только глазами поводил кругом и дышал полной грудью; за поясом у него торчал кинжал.

– Ну, злодей-разлучник, берегись теперь! – пробормотал он, выезжая на большую дорогу.

Дом он свой поручил казачку Перфишке и бабе-стяпухе, глухой и старой женщине, которую он призрел у себя из сострадания.

– Я к вам вернусь на Малек-Аделе, – крикнул он им на прощанье, – или уж вовсе не вернусь!

– Ты бы хоть замуж за меня пошла, что ли! – сострил Перфишка, толкнув стяпуху локтем в бок. – Все равно нам барина не дождаться, а то ведь со скуки пропадешь!

## IX

Минул год... целый год: никакой вести о Пантелее Еремеиче не доходило. Стряпуха умерла; сам Перфишка собирался уже бросить дом да отправиться в город, куда его сманивал двоюродный брат, живший подмастерьем у парикмахера, – как вдруг распространился слух, что барин возвращается! Приходский дьякон получил от самого Пантелея Еремеича письмо, в котором тот извещал его о своем намерении прибыть в Бессоново и просил его предупредить прислугоу – для устроения надлежащей встречи. Слова эти Перфишка донял так, что надо, мол, хоть пыль немножечко постереть – впрочем, большой веры в справедливость известия он не возымел; пришлось ему, однако, убедиться, что дьякон-то сказал правду, когда, несколько дней спустя, Пантелея Еремеич сам, собственной особой, появился на дворе усадьбы, верхом на Малек-Аделе.

Перфишка бросился к барину – и, придерживая стремя, хотел было помочь ему слезть с коня; но тот соскочил сам и, кинув вокруг торжествующий взгляд, громко воскликнул: «Я сказал, что отыщу Малек-Аделя, – и отыскал его, назло врагам и самой судьбе!» Перфишка подошел к нему к ручке, но Чертопханов не обратил внимания на усердие своего слуги. Ведя за собою Малек-Аделя в поводу, он направился большими шагами к конюшне. Перфишка попристальнее посмотрел на своего барина – и заробел: «Ох, как он похудел и постарел в течение года – и лицо какое стало строгое и суровое!» А кажется, следовало бы Пантелею Еремеичу радоваться, что, вот, мол, достиг-таки своего; да он и радовался, точно... и все-таки Перфишка заробел, даже жутко ему стало. Чертопханов поставил коня в прежнее его стойло, слегка хлопнул его по крупу и промолвил: «Ну, вот ты и дома опять! Смотри же!..» В тот же день он нанял надежного сторожа из бестягольных бобылей, поместился снова в своих комнатах и зажил по-прежнему...

Не совсем, однако, по-прежнему... Но об этом впереди. На другой день после своего возвращения Пантелея Еремеич призвал к себе Перфишку и, за неимением другого собеседника, принялся рассказывать ему – не теряя, конечно, чувства собственного достоинства и басом, – каким образом ему удалось отыскать Малек-Аделя. В течение рассказа Чертопханов сидел лицом к окну и курил трубку из длинного чубука; а

Перфишка стоял на пороге двери, заложив руки за спину и, почтительно взирая на затылок своего господина, слушал повесть о том, как после многих тщетных попыток и разъездов Пантелея Еремеич наконец попал в Ромны на ярмарку, уже один, без жида лейбы, который, по слабости характера, не вытерпел и бежал от него; как на пятый день, уже собираясь уехать, он в последний раз пошел по рядам телег и вдруг увидал, между тремя другими лошадьми, привязанного к хребтуку, — увидал Малек-Аделя! Как он тотчас его узнал и как Малек-Адель его узнал, стал ржать, и рваться, и копытом рыть землю.

— И не у казака он был, — продолжал Чертопханов, все не поворачивая головы и тем же басовым голосом, — а у цыгана-барышника; я, разумеется, тотчас вклепался в свою лошадь и пожелал насильно ее возвратить; но бестия цыган заорал как ошпаренный на всю площадь, стал божиться, что купил лошадь у другого цыгана, и свидетелей хотел представить... Я плонул — и заплатил ему деньги: черт с ним совсем! Мне главное то дорого, что друга я своего отыскал и покой душевный получил. А то вот я в Каравеевском уезде, по словам жида Лейбы, вклепался было в казака — за моего вора его принял, всю рожу ему избил; а казак-то оказался поповичем и бесчестия с меня содрал — сто двадцать рублей. Ну, деньги дело наживное, а главное: Малек-Адель опять у меня! Я теперь счастлив — и буду наслаждаться спокойствием. А для тебя, Порфирий, одна инструкция: как только ты, чего Боже оборони, завидишь в окрестностях казака, так сию же секунду, ни слова не говоря, беги и неси мне ружье, а я уж буду знать, как мне поступить!

Так говорил Пантелея Еремеич Перфишке; так выражались его уста; но на сердце у него не было так спокойно, как он уверял.

Увы! в глубине души своей он не совсем был уверен, что приведенный им конь был действительно Малек-Адель!

## X

Настало трудное время для Пантелея Еремеича. Именно спокойствием-то он наслаждался меньше всего. Правда, выпадали хорошие дни: возникшее в нем сомнение казалось ему чепухой; он отгонял нелепую мысль, как назойливую муху, и даже смеялся над самим собою; но выпадали также дни дурные: неотступная мысль снова принималась исподтишка точить и скрести его сердце, как подпольная мышь, — и он мучился едко и тайно. В течение памятного дня, когда он отыскал Малек-Аделя, Чертопханов чувствовал одну лишь блаженную радость... но на другое утро, когда он под низким навесом постоялого дворика стал седлать свою находку, близ которой провел всю ночь, что-то в первый раз его кольнуло... Он только головой мотнул — однако семя было заброшено. В течение обратного путешествия домой (оно продолжалось с неделей) сомнения в нем возбуждались редко: они стали сильней и явственней, как только он вернулся в свое Бессоново, как только очутился в том месте, где жил прежний, несомненный Малек-Адель... Дорогой он ехал больше шагом, враскачу, глядел по сторонам, покуривал табак из коротенького чубчика и ни о чем не размышлял; разве возьмет да подумает про себя: «Чертопхановы чего захотят — уж добываются! шалишь!» — и ухмыльнется; ну, а с прибытием домой пошла статья другая. Все это он берег, конечно, про себя; одно уж самолюбие не позволило бы ему выказать свою внутреннюю тревогу. Он бы «перервал пополам» всякого, кто бы хоть отдаленно намекнул на то, что новый Малек-Адель, кажется, не старый; он принимал поздравления с «благополучной находкой» от немногих лиц, с которыми ему приходилось сталкиваться; но он не искал этих поздравлений, он пуще прежнего избегал столкновений с людьми — знак плохой! Он почти постоянно, если можно так выразиться, экзаменовал Малек-Аделя; уезжал на нем куда-нибудь подальше в поле иставил его на пробу; или уходил украдкой в конюшню, запирал за собою дверь и, ставши перед самой головой коня, заглядывал ему в глаза, спрашивал шепотом: «Ты ли это? Ты ли? Ты ли...» — а не то молча его рассматривал, да так пристально, по целым часам, то радуясь и бормоча: «да! он! конечно, он!» — то недоумевая и даже смущаясь.

И не столько смущали Чертопханова физические несходства этого Малек-Аделя с тем... впрочем, их насчитывалось немного: у того хвост и грива словно были пожиже, и уши острей, и бабки короче, и глаза светлей — но это могло только так казаться; а смущали Чертопханова несходства, так сказать, нравственные. Привычки у того были другие, вся повадка была не та. Например: тот Малек-Адель всякий раз оглядывался и легонько ржал, как только Чертопханов входил в конюшню; а этот жевал себе сено как ни в чем не бывало или дремал, понурив голову. Оба не двигались с места, когда хозяин соскачивал с седла; но тот, когда его звали, тотчас шел на голос, а этот продолжал стоять, как пень. Тот скакал так же

Конец Чертопханова. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
быстро, но прыгал выше и дальше; этот шагом шел вольнее, а рысью трясче и «хлябал» иногда подковами, то есть стучал задней о переднюю; за тем никогда такого сраму не водилось – сохрани Бог! Этот, думалось Чертопханову, все ушами прядет, глупо так, – а тот напротив: заложил одно ухо назад да так и держит – хозяина наблюдает! Тот, бывало, как увидит, что около него нечисто, – сейчас задней ногой стук в стенку стойла; а этому ничего – хоть по самое брюхо навали ему навозу. Тот, если, например, против ветра его поставить, – сейчас всеми легкими вздохнет и встремится, а этот знай пофыркивает; того сырость дождевая беспокоила – этому она нипочем... Грубее этот, грубее! И приятности нет как у того, и туг на поводу – что и говорить! Та была лошадь милая – а эта...

Вот что думалось иногда Чертопханову, и горечью отзывались в нем эти думы. Зато в другое время – пустит он своего коня во всю прыть по только что вспаханному полю или заставит его соскочить на самое дно размытого оврага и по самой круче выскочить опять, и замирает в нем сердце от восторга, громкое гикание вырывается из уст, и знает он, знает наверное, что это под ним настоящий, несомненный Малек-Адель, ибо какая другая лошадь в состоянии сделать то, что делает эта?

Однако и тут не обходилось без греха и беды. Продолжительные поиски за Малек-Аделем стоили Чертопханову много денег; о костромских собаках он уже не помышлял и разъезжал по окрестностям в одиночку, по-прежнему. Вот в одно утро Чертопханов верстах в пяти от Бессонова наткнулся на ту самую княжескую охоту, перед которой он так молодецки гарцевал года полтора тому назад. И надо же было случиться такому обстоятельству: как и в тот день, так и теперь – русак возьми да вскочи перед собаками из-под межи на косогоре! «Ату его, ату!» Вся охота так и понеслась, и Чертопханов понесся тоже, только не вместе с нею, а шагов от нее на двести в сторону, – точно так же, как и тогда. Громадная водомоина криво прорезала косогор и, поднимаясь все выше и выше, постепенно суживаясь, пересекала путь Чертопханову. Там, где ему приходилось перескочить ее – и где он полтора года тому назад действительно перескошил ее, – в ней все еще было шагов восемь ширины да сажени две глубины. В предчувствии торжества, столь чудным образом повторенного торжества, Чертопханов загоготал победоносно, потряс нагайкой – охотники сами скакали, а сами не спускали глаз с лихого наездника, – конь его летел стрелою – вот уже водомоина перед самым носом – ну, ну, разом, как тогда!..

Но Малек-Адель круто уперся, вильнул налево и поскакал вдоль обрыва, как ни дергал ему Чертопханов голову набок, к водомоине.

Струсили, значит, не понадеялся на себя!

Тогда Чертопханов, весь пылая стыдом и гневом, чуть не плача, опустил поводья и погнал коня прямо вперед, в гору, прочь, прочь от тех охотников, чтобы только не слышать, как они издеваются над ним, чтобы только исчезнуть поскорее с их проклятых глаз!

С иссеченными боками, весь облитый мыльной пеной, прискакал домой Малек-Адель, и Чертопханов тотчас заперся у себя в комнате.

«Нет, это не он, это не друг мой! Тот бы шею сломил – а меня бы не выдал!»

## XI

Окончательно «доехал», как говорится, Чертопханова следующий случай. Верхом на Малек-Аделе пробирался он однажды по задворкам поповской слободки, окружавшей церковь, в приходе которой состояло сельцо Бессоново. Нахлобучив на глаза папаху, сгорбившись и уронив на луку седла обе руки, он медленно подвигался вперед; на душе у него было нерадостно и смутно. Вдруг его кто-то окликнул.

Он остановил коня, поднял голову и увидел своего корреспондента, дьякона. С бурым треухом на бурых, а косичку заплетенных волосах, облеченный в желтоватый нанковый кафтан, подпоясанный гораздо ниже талии голубеньким обрывочком, служитель алтаря вышел свое «одоньишко» проведать – и, улицезрев Пантелея Еремеича, почел долгом выразить ему свое почтение – да кстати хоть что-нибудь у него выпросить. Без такого рода задней мысли, как известно, духовные лица со светскими не заговаривают.

Но Чертопханову было не до дьякона; он едва отвечал на его поклон и промычав что-то сквозь зубы, уже взмахнул нагайкой...

– А какой у вас конь богатейший! – поспешил прибавить дьякон. – Вот уж точно можно чести приписать. Истинно: вы муж ума чудного, просто аки лев! – Отец дьякон славился красноречием, чем сильно досаждал отцу попу, которому дар слова присущ не был: даже водка не развязывала ему язык. – Одного живота, по навету злых людей, лишились, – продолжал дьякон, – и, нимало не унывая, а, напротив, более надеясь на Божественный промысел, приобрели себе другого, нисколько не худшего, а почитай даже что и лучшего... потому...

– Что ты врешь? – сумрачно перебил Чертопханов, – какой такой другой конь? Это тот же самый; это Малек-Адель... Я его отыскал. Болтает зря...

– Э! э! э! э! – промолвил с расстановкой, как бы с оттяжкой, дьякон, играя перстами в бороде и озирая Чертопханова своими светлыми жадными глазами. – Как же так, господин? Коня-то вашего, дай Бог памяти, в минувшем году недельки две после Покрова украли, а теперь у нас ноябрь на исходе.

– Ну да, что же из этого?

Дьякон все продолжал играть перстами в бороде.

– Значит, с лишком год с тех пор протек, а конь ваш, как тогда был серый в яблоках, так и теперь; даже словно темнее стал. Как же так? Серые-то лошади в один год много белеют.

Чертопханов дрогнул... словно кто рогатиной толкнул его против сердца. И в самом деле: серая масть-то ведь меняется! Как ему такая простая мысль до сих пор в голову не пришла?

– Пучок анафемский! отвяжись! – гаркнул он вдруг, бешено сверкнув глазами, и мгновенно скрылся из виду у изумленного дьякона.

– Ну! все кончено!

Вот когда действительно все кончено, все лопнуло, последняя карта убита! Все разом рухнуло от одного этого слова: «белеют»!

Серые лошади белеют!

Скачи, скачи, проклятый! Не ускакешь от этого слова!

Чертопханов примчался домой и опять заперся на ключ.

## XII

Что эта дрянная кляча не Малек-Адель, что между ю и Малек-Аделем не существовало ни малейшего сходства, что всякий мало-мальски путный человек должен был с первого разу это увидеть, что он, Пантелей Чертопханов, самым пошлым образом обманулся – нет! что он нарочно, преднамеренно надул самого себя, напустил на себя этот туман, – во всем этом теперь уже не оставалось ни малейшего сомнения! Чертопханов ходил взад и вперед по комнате, одинаковым образом поворачиваясь на пятках у каждой стены, как зверь в клетке. Самолюбие его страдало невыносимо; но не одна боль уязвленного самолюбия терзала его: отчаяние овладело им, злоба душила его, жажда мести в нем загоралась. Но против кого? Кому отметить? Жиду, Яффу, Маше, дьякону, вору казаку, всем соседям, всему свету, самому себе наконец? Ум в нем мешался. Последняя карта убита! (Это сравнение ему нравилось.) И он опять ничтожнейший, презреннейший из людей, общее посмешище, шут гороховый, зарезанный дурак, предмет насмешки – для дьякона!! Он воображал, он ясно представлял себе, как этот мерзкий пучок станет рассказывать про серую лошадь, про глупого барина... О, проклятие!! Напрасно Чертопханов старался унять расходившуюся желчь; напрасно он пытался уверить себя, что эта... лошадь хотя и не Малек-Адель, однако все же... добра и может много лет прослужить ему: он тут же с яростью отталкивал от себя прочь эту мысль, точно в ней заключалось новое оскорбление для того Малек-Аделя, перед, которым он уж и без того считал себя виноватым... Еще бы! Этот одер, эту клячу он, как слепой, как олух, приравнял ему, Малек-Аделю! А что насчет службы, которую эта кляча могла еще сослужить ему... да разве он когда-нибудь удостоит сесть на нее верхом? Ни за что! Никогда!! Татарину ее отдать, собакам на снедь – другого она не стоит... Да! Этак лучше всего!

Часа два с лишком бродил Чертопханов по своей комнате.

— Перфишка! — скомандовал он вдруг. — Сию минуту ступай в кабак; полведра водки притащи! Слышишь? Полведра, да живо! Чтобы водка сию секунду тут у меня на столе стояла.

Водка не замедлила появиться на столе Пантелея Еремеича, и он начал пить.

### XIII

Кто бы тогда посмотрел на Чертопханова, кто бы мог быть свидетелем того угрюмого озлобления, с которым он осушал стакан за стаканом, — тот наверное почувствовал бы невольный страх. Ночь наступила; сальная свечка тускло горела на столе. Чертопханов перестал скитаться из угла в угол; он сидел весь красный, с помутившимися глазами, которые он то опускал на пол, то упорно устремлял в темное окно; вставал, наливал себе водки, выпивал ее, опять садился, опять уставлял глаза в одну точку и не шевелился — только дыхание его учащалось и лицо все более краснело. Казалось, в нем созревало какое-то решение, которое его самого смущало, но к которому он постепенно привыкал; одна и та же мысль неотступно и безостановочно надвигалась все ближе и ближе, один и тот же образ рисовался все яснее и яснее впереди, а в сердце, под раскаляющим напором тяжелого хмеля, раздражение злобы уже сменялось чувством зверства, и зловещая усмешка появлялась на губах...

— Ну, однако, пора! — промолвил он каким-то деловым, почти скучливым тоном, — будет прохладствовать-то!

Он выпил последний стакан водки, достал над кроватью пистолет — тот самый пистолет, из которого выстрелил в Машу, зарядил его, положил на «всякий случай» несколько пистонов в карман — и отправился на конюшню.

Сторож побежал было к нему, когда он стал отворять дверь, но он крикнул на него: «Это я! Аль не видишь? Отправляйся!» Сторож отступил немного в сторону. «Спать отправляйся! — опять крикнул на него Чертопханов, — нечего тебе тут стеречь! Эку невидаль, сокровище какое!» Он вошел в конюшню. Малек-Адель... ложный Малек-Адель лежал на подстилке. Чертопханов толкнул его ногою, примолвив: «Вставай, ворона!» Потом отвязал недоуздок от яслей, снял и сбросил на землю попону — и, грубо повернув в стойле послушную лошадь, вывел ее вон на двор, а со двора в поле, к крайнему изумлению сторожа, который никак не мог понять, куда это барин отправляется ночью, с невзнузданной лошадью в поводу? Спросить его — он, разумеется, побоялся, а только проводил его глазами, пока он не исчез на повороте дороги, ведущей к соседнему лесу.

### XIV

Чертопханов шел большими шагами, не останавливаясь и не оглядываясь; Малек-Адель — будем называть его этим именем до конца — покорно выступал за ним следом. Ночь была довольно светлая; Чертопханов мог различить зубчатый очерк леса, черневшего впереди сплошным пятном. Охваченный ночным холодом, он бы, наверное, захмелел от выпитой им водки, если бы... если бы не другой, более сильный хмель, который обуял его всего. Голова его отяжелела, кровь раскатисто стучала в горло и в уши, но он шел твердо и знал, куда шел.

Он решился убить Малек-Аделя; целый день он только об этом думал... Теперь он решился!

Он шел на это дело не то чтобы спокойно, а самоуверенно, бесповоротно, как идет человек, повинующийся чувству долга. Ему эта «штука» казалась очень «простою»: уничтожив самозванца, он разом поквитается со «всем» — и самого себя казнит за свою глупость, и перед настоящим своим другом оправдается, и целому свету докажет (Чертопханов очень заботился о «целом свете»), что с ним шутить нельзя... А главное: самого себя он уничтожит вместе с самозванцем, ибо на что ему еще жить? Как это все укладывалось в его голове и почему этоказалось ему так просто — объяснить не легко, хотя и не совсем невозможно: обиженный, одинокий, без близкой души человеческой, без гроша медного, да еще с кровью, зажженной вином, он находился в состоянии, близком к помешательству, а нет сомнения в том, что в самых нелепых выходках людей помешанных есть, на их глаза, своего рода логика и даже право. В праве своем Чертопханов был во всяком случае вполне уверен; он не колебался, он спешил исполнить приговор над виновным, не отдавая себе, впрочем,

Конец Чертопханова. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
ясного отчета: кого он собственно обзывал этим именем?.. Правду говоря, он  
размышлял мало о том, что собирался сделать.

«Надо, надо кончить, – вот что он твердил самому себе, тупо и строго, – кончить  
надо!»

А безвинный виновный трусил покорной рысцой за его спиною... Но в сердце  
Чертопханова не было жалости.

#### XV

Недалеко от опушки леса, куда он привел свою лошадь, тянулся небольшой овраг, до  
половины заросший дубовым кустарником. Чертопханов спустился туда... Малек-Адель  
спотыкнулся и чуть не упал на него.

– Аль задавить меня хочешь, проклятый! – вскрикнул Чертопханов и, словно  
защищаясь, выхватил пистолет из кармана. Уже не ожесточение испытывал он, а ту  
особенную одеревенелость чувства, которая, говорят, овладевает человеком перед  
совершением преступления. Но собственный голос испугал его – так дико прозвучал  
он под навесом темных ветвей, в гнилой и спретой сырости лесного оврага! К тому  
же, в ответ на его восклицание, какая-то большая птица внезапно затрепыхалась в  
верхушке дерева над его головою... Чертопханов дрогнул. Точно он разбудил  
свидетеля своему делу – и где же? в этом глухом месте, где он не должен был  
встретить ни одного живого существа...

– Ступай, черт, на все четыре стороны! – проговорил он сквозь зубы и, выпустив  
повор Малек-Аделя, с размаху ударили его по плечу прикладом пистолета.  
Малек-Адель немедленно повернулся назад, выкарабкался вон из оврага... и побежал.  
Но недолго слышался стук его копыт. Поднявшийся ветер мешал и застилал все  
звуки.

В свою очередь, Чертопханов медленно выбрался из оврага, достиг опушки и  
поплелся по дороге домой. Он был недоволен собою; тяжесть, которую он чувствовал  
в голове, в сердце, распространялась по всем членам; он шел сердитый, темный,  
неудовлетворенный, голодный, словно кто обидел его, отнял у него добычу, пищу...

Самоубийце, которому помешали исполнить его намерение, знакомы подобные  
ощущения.

Вдруг что-то толкнуло его сзади, между плеч. Он оглянулся... Малек-Адель стоял  
посреди дороги. Он пришел следом за своим хозяином, он тронул его мордой...  
должил о себе...

– А! – закричал Чертопханов, – ты сам, сан за смертью пришел! Так на же!

В мгновенье ока он выхватил пистолет, взвел курок, приставил дуло ко лбу  
Малек-Аделя, выстрелил...

Бедная лошадь шарахнулась в сторону, взвилась на дыбы, отскочила шагов на десять  
и вдруг грузно рухнула и захрипела, судорожно валяясь по земле...

Чертопханов зажал себе уши обеими руками и побежал. Колени подгибались под ним.  
И хмель, и злоба, в тупая самоуверенность – все вылетело разом. Осталось одно  
чувство стыда и безобразия – да сознание, сознание несомненное, что на этот раз  
он и с собой покончил.

#### XVI

Недель, шесть спустя казачок Перфишка почел долгом остановить проезжавшего мимо  
бессоновской усадьбы станового пристава.

– Чего тебе? – спросил блюститель порядка.

– Пожалуйте, ваше благородие, к нам в дом, – ответил казачок с низким поклоном,  
– Пантелея Еремеич, кажись, умирать собираются; так вот я и боюсь.

– Как? умирать? – переспросил становой.

– Точно так-с. Сперва они кажинный день водку кушали, а теперь вот в постель  
слегли, и уж оченно они худы стали. Я так полагаю, они теперь и понимать-то

Конец Чертопханова. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)  
ничего не понимают. Без языка совсем.

Становой слез с телеги.

– Что же ты, за священником, по крайней мере, сходил? Исповедался твой барин?  
Причастился?

– Никак нет-с.

Становой нахмурился.

– Как же ты это так, братец? Разве этак можно, а? иль ты не знаешь, что за это...  
ответственность бывает большая, а?

– Да я их и третьего дня и вчера спрашивал, – подхватил оробевший казачок, –  
не прикажете ли, говорю, Пантелея Еремеич, за священником сбегать? «Молчи,  
говорит, дурак. Не в свое дело не суйся». А сегодня, как я стал, докладывать, –  
только посмотрели на меня да усом повели.

– И много он пил водки? – спросил становой.

– Дюже много! да вы уж сделайте милость, ваше благородие, пожалуйте к ним в  
комнату.

– Ну, веди! – проворчал становой и последовал за Перфишкой.

Удивительное зрелище его ожидало.

В задней комнате дома, сырой и темной, на убогой кровати, покрытой конскою  
попоной, с лохматой буркой вместо подушки, лежал Чертопханов, уже не бледный, а  
изжелта-зеленый, как бывают мертвцы, со ввалившимися глазами под глянцевитыми  
веками, с заостренным, но все еще красноватым носом над взъерошенными усами.  
Лежал он одетый в неизменный свой архалук с патронами на груди и в черкесские  
синие шаровары. Папаха с малиновым верхом закрывала ему лоб до самых бровей. В  
одной руке Чертопханов держал охотничью нагайку, в другой – шитый кисет,  
последний подарок Маши. На столе возле кровати стоял пустой штоф; а в головах,  
пришпиленные булавками к стене, виднелись два акварельных рисунка: на одном,  
сколько можно было понять, был представлен толстый человек с гитарой в руках –  
вероятно, Недопюскин; другой изображал скачущего всадника... Лошадь походила на  
тех сказочных животных, которых рисуют дети на стенах и заборах; но старательно  
оттушеванные яблоки ее масти и патроны на груди всадника, острые носки его  
сапогов и громадные усы не оставляли места сомнению: этот рисунок долженствовал  
изобразить Пантелея Еремеича верхом на Малек-Аделе.

Изумленный становой не знал, что предпринять. Мертвая тишина царствовала в  
комнате. «Да уж он скончался», – подумал он и, возвысив голос, промолвил:

– Пантелея Еремеич! А, Пантелея Еремеич!

Тогда произошло нечто необыкновенное. Глаза Чертопханова медленно раскрылись,  
потухшие зрачки двинулись сперва справа налево, потом слева направо,  
остановились на посетителе, увидали его... Что-то замерцало в их тусклой белизне,  
подобие взора в них проявилось; посиневшие губы постепенно расклеились, и  
послышался сиплый, уж точно гробовой голос:

– Столбовой дворянин Пантелея Чертопханов умирает; кто может ему препятствовать?  
Он никому не должен, ничего не требует... Оставьте его, люди! Идите!

Рука с нагайкой попыталась приподняться... Напрасно! Губы опять склеились, глаза  
закрылись – и по-прежнему лежал Чертопханов на своей жесткой кровати вытянувшись  
как пласт и сдвинув подошвы.

– Дай знать, когда скончается, – шепнул, выходя из комнаты, становой Перфишке, –  
а за попом, я полагаю, сходить и теперь можно. Надо ж порядок соблюсти,  
особоровать его.

Перфишка в тот же день сходил за попом; а на следующее утро ему пришлось дать  
знать становому: Пантелея Еремеич скончался в ту же ночь.

Конец Чертопханова. Иван Сергеевич Тургенев [turgenevivan.ru](http://turgenevivan.ru)

Когда его хоронили, гроб его провожали два человека: казачок Перфишка да Мошель Лейба. Весть о кончине Чертопханова каким-то образом дошла до жида – и он не преминул отдать последний долг своему благодетелю.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://turgenevivan.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!